

Страх

Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтоб день прошел и слава богу. Я любил бывать у него и, случалось, гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любил и его самого, хотя не могу сказать этого наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек, но помню очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения.

Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка, я скучал по ней, когда долго не видал ее, и мое воображение в то время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину.

Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко. Когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал, и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг и что она сама считает меня его другом, настроение мое портилось, и я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила: Вам скучно без вашего друга. Надо послать за ним в поле.

И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила:

Ну, вот теперь пришел ваш друг. Радуйтесь.

Так продолжалось года полтора.

Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович, от нечего делать, поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закусочку. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер, тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом, точно сыщик, следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище: Сорок Мучеников. Этот Сорок Мучеников был не кто иной, как Гаврила Северов, или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича, и им тоже был уволен всё за тот же грех. Это был лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же беспутною, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка, значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному, но как я ни всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже седеющую бороду, в жалкенький рваный пиджак и красную рубаху навыпуск, я никак не мог найти даже следа того, что у нас в обществе зовется привилегиями. Он называл себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курса не кончил, так как его уволили за курение табаку; затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили, но уж не за курение, а за слабость. Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошения в консистории и в разные присутственные места, четыре раза был под судом. Наконец, застрявши у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове-кухарке и окончательно погряз в холуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрызгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести. Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. Сорок Мучеников стал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистом, звездном небе было только два облака и как раз над нами: одно большое, другое поменьше; они одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря. Славный сегодня день, сказал Дмитрий Петрович. До чрезвычайности... согласился Сорок Мучеников и почтительно кашлянул в руку. Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать?

спросил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор.

Дмитрий Петрович ничего не ответил. Сорок Мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас:

Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему богу. Оно, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести: без куска хлеба и хуже собаки... Простите, Дмитрий Петрович! Силин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий, багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки: это деревушка... Там пели песню.

На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражения звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились... Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь:

Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?

Страшно то, что непонятно.

А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?

Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное, худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода чернее сажи. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим, по обыкновению, умоляющим голосом:

Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как всё это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон; этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час, моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара, и это, уверяю вас, мне не казалось страшнее

действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает всё, что видит и слышит, а я вот утерял это кажется и изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

Что же собственно вам страшно? спросил я.

Мне всё страшно. Я человек от природы не глубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьбы человечества, и вообще редко уношусь в высь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я неспособен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня; я сознаю, что условия жизни и воспитание заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу и испугался, приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаем и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клеветаем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить, и это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому всё это нужно. Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди; если же цель и смысл жизни в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вот этого субъекта! сказал Дмитрий Петрович, указывая на Сорок Мучеников. Вдумайтесь!

Заметив, что оба мы посмотрели на него, Сорок Мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:

У хороших господ я завсегда был верной слугой, но главная причина спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили, несчастному человеку, и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо!

Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил десять.

Однако, уже десять часов! сказал Дмитрий Петрович. Пора бы уж нам ехать.

Да, голубчик мой, вздохнул он, если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных, житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтоб не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтоб крепко спать ночью. Дети, жена у других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!

Он помял руками лицо, крикнул и засмеялся.

Если б я мог рассказать вам, какого я дурака разыграл в жизни! сказал он. Мне все говорят: у вас милая жена, прелестные дети и сами вы прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив, и завидуют мне. Ну, коли на то пошло, то скажу вам по секрету: моя счастливая семейная жизнь одно только печальное недоразумение, и я боюсь ее.

Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса:

Вы мой искренний друг, я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такою восхитительной, мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за нею два года. Я делал ей предложение пять раз, и она отказывала мне, потому что была ко мне совершенно равнодушна. В шестой раз, когда я, угоревши от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки, как милостыни, она согласилась... Так она сказала мне: Я вас не люблю, но буду вам верна... Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что это значит, но теперь, клянусь богом, не понимаю. Я вас не люблю, но буду вам верна, что это значит? Это туман, потемки... Я люблю ее теперь так же сильно, как в первый день свадьбы, а она, мне кажется, по-прежнему равнодушна и, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дому. Я не знаю наверное, любит она меня или нет, не знаю, не знаю, но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу ты, спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая... Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка! Оттого, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе, всё у меня в голове перепуталось, я мучаю себя и тупею, а как назло она с каждым днем всё хорошеет, она становится удивительной... По-моему, волосы у нее замечательные, а улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей! Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений?

Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго, но, к

счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и Сорок Мучеников, сняв шапку, посадил нас обоих и с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам.

Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти, проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову набок. Явите божескую милость! Пропадаю с голоду!

Ну, ладно, сказал Силин. Приходи, поживешь три дня, а там увидим.

Слушаю-с! обрадовался Сорок Мучеников. Я сегодня же приду-с.

До дому было шесть верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию, и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой. То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе значит быть нерасчетливым. Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги.

А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека. И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус, и мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.

Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа, и мне казалось, что я это вижу.

Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами минут десять и сказал:

Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в три часа. Позвольте оставить вас.

Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспять, он пошел ночевать во флигель.

Мария Сергеевна легла спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому.

Итак? начал я, когда мы остались одни. Итак, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые, пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном, равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня.

Вам скучно без вашего друга, сказала она.

Я засмеялся.

Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю.

Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину.

Вы что хотите этим сказать? спросила она, поднимая на меня свои большие, ясные глаза.

Я ничего не ответил.

Вы сказали неправду, продолжала она, подумав. Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу.

Эге! подумал я и, не зная, что сказать, спросил: Хотите пройтись по саду? Нет.

Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь, или никогда.

Какая хорошая погода! сказал я громко.

Для меня это решительно всё равно, послышался ответ.

Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону.

Почему же это для вас решительно всё равно? спросил я.

Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем... это для вас не интересно.

Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет.

Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от

занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллеи тянулись черные тени деревьев. Мне тоже нужно уезжать завтра, сказал я.

Конечно, если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь, проговорила она насмешливо. Воображаю, как бы вы были несчастны, если бы влюбились в меня! Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею... Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно.

Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность, и тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такую чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза.

Однако уже пора... Спокойной ночи, проговорила она.

Я не хочу спокойной ночи... сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!

В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка всё это улыбалось мне в тишине, спросонок, и, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: как сладко спит сияние луны здесь на скамье!

В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови, и мне хотелось не верить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась.

Но вот неожиданно слышались тяжелые шаги. На аллее появился мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем Сорок Мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть. Ну, жизнь! проговорил он. Несчастливая, горькая жизнь!

Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного

состояния. Я спустился с горки и пошел к дому.

Жизнь, по его мнению, страшна, думал я, так не церемонься же с нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери всё, что можно урвать от нее.

На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею...

В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном, и я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов... Но все-таки далеко, где-то в глубине души я чувствовал какую-то неловкость и мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотел, чтобы не было ничего серьезного ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором и баста.

Ровно в три часа она вышла от меня и, когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату.

Тут я забыл вчера свою фуражку... сказал он, не глядя на меня.

Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом:

Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах.

И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом; вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадам.

Немного погодя уехал и я сам. Уже восходило солнце и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел Сорок Мучеников, уже успевший где-то выпить, и молот пьяный вздор.

Я человек вольный! кричал он на лошадей. Эй, вы, малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!

Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают.

Зачем я это сделал? спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. Почему

это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтоб она любила меня серьезно и чтоб он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?

В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.